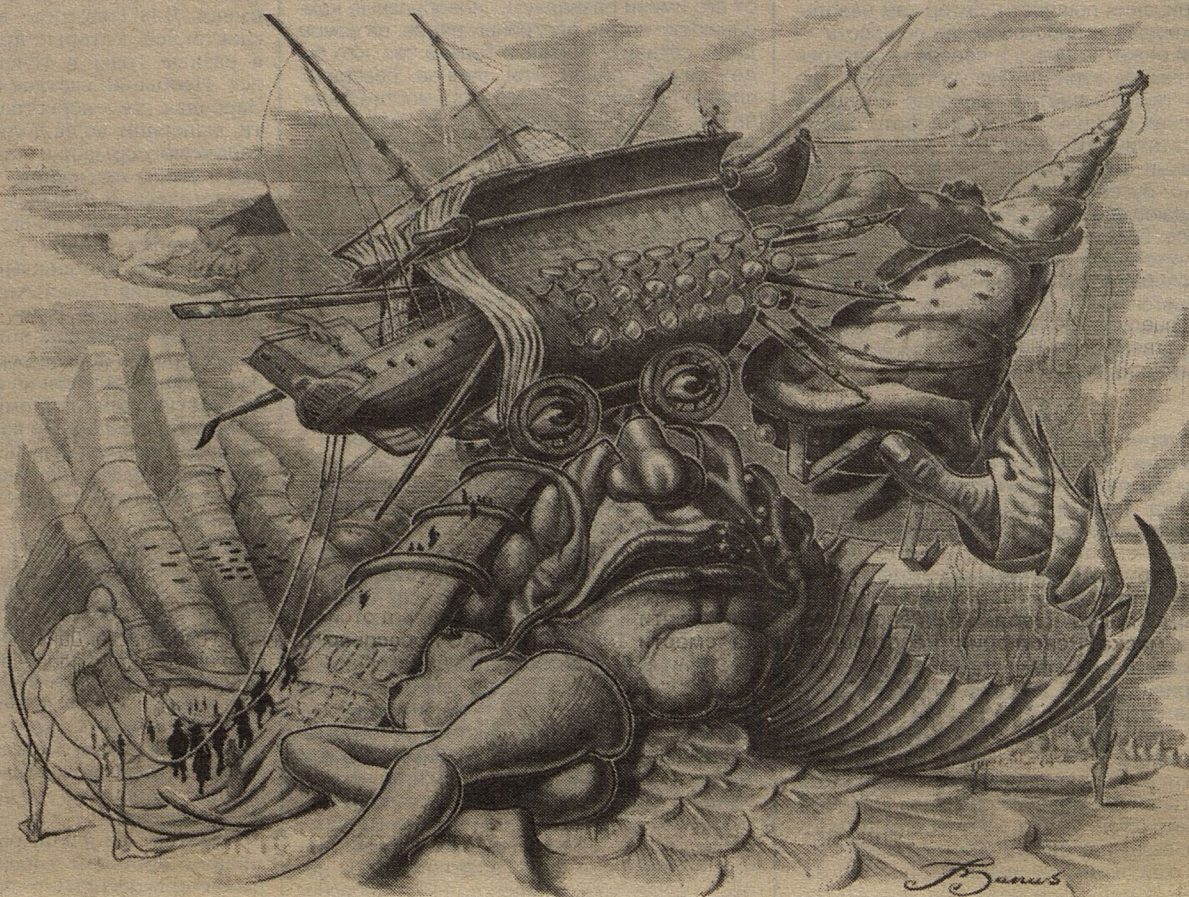


Хайнер МЮЛЛЕР

МИССИЯ

Воспоминание об одной революции



Галлудек — Антуану. Я пишу это письмо на смертном одре. Пишу от своего имени и от имени гражданина Саспортаса, повешенного в Пор-Рояле. Я сообщаю Вам, что мы вынуждены отказаться от выполнения миссии, порученной нам Конвентом в Вашем лице, поскольку мы не смогли ее выполнить. Может быть, другие достигнут большего. От Дебюиссона Вы более ничего не услышите, у него все хорошо. Похоже, что, когда народы утопают в крови, наступают хорошие времена для предателей. Так устроен мир, и это нехорошо. Простите за почерк, мне ампутировали ногу, у меня жар. Надеюсь, это письмо застанет Вас в добром здравии, и остаюсь с республиканским приветом
Ваш Галлудек.

Матрос. Антуан. Женщина.

МАТРОС. Вы — гражданин Антуан? Тогда вот вам письмо. От некоего Галлудека. Не моя вина, если письмо уже устарело, а дело, может быть, уладилось само собой. Испанцы держали нас на Кубе, потом из-за англичан мы торчали на Тринидаде, до тех пор пока ваш консул Бонапарт не заключил мир с Англией. Затем в Лондоне меня ограбили на улице, потому что я был пьян, но письма они не взяли. Что до Галлудека, он приказал долго жить. Он подошел на Кубе, в одной то ли больнице, то ли тюрьме. Он попал туда с гангреной, а я с лихорадкой. "Возьми письмо, оно должно дойти, и даже если это будет последним делом твоей жизни, сделай его для меня", — так он мне сказал. И еще дал адрес какого-то учреждения и ваше имя, если вы тот самый Антуан. Но того учреждения больше нет, а о вас, если это ваше имя — Антуан, там, где было учреждение, тоже никто ничего не знает. Один из жильцов в подвале недостроенного дома послал меня в школу, где какой-то Антуан вроде бы работал учителем. Но и там такого не знали. Потом одна уборщица сказала, что ее племянник видел вас здесь. Он служит кучером. Он описал мне вас, если вы — тот самый.

АНТУАН. Я не знаю никакого Галлудека.

МАТРОС. Не знаю, почему ему было так важно это письмо. Он толковал о какой-то миссии, которую не выполнил. И он должен сообщить об этом, чтобы другие продолжили его работу. Под конец ни о чем другом не говорил. Разве что ревел, но это от боли. Боль накачивала волнами. Он долго мучился, пока не заставил себя помереть. Доктор сказал, сердце у него было слишком сильное, другой бы на его месте уже десять раз помер. Иной человек выдерживает слишком мало, иной слишком много. Подлая штука — жизнь. У другого, у негра, о котором он пишет в письме, смерть была скорая. Он мне читал письмо, Галлудек этот, чтобы я наизусть его выучил на случай, если оно потеряется. И если вы еще его не вспомнили, я расскажу вам, что они с ним сделали и как он умер. Ведь вас при этом не было. Сперва они отрезали ему ногу до колена, потом — остальное. Это была левая. После этого...

АНТУАН. Я не знаю ни о какой миссии, я миссий не поручаю, я не Бог и не царь. Я зарабатываю на хлеб частными уроками. Очень мало. А на боях я бывал, и не раз. В анатомии человека разбираюсь. Галлудек...

Женщина с вином, хлебом, сыром.

ЖЕНЩИНА. У тебя гость. Я продала один орден. Тот, который за Вандею, где вы убивали крестьян во имя Республики.

АНТУАН. Да.

МАТРОС. Я гляжу, у вас пока есть все. Не то что у этого Галлудека, которого вы не знаете и который мертв как камень. Второго звали Саспортас. Его они повесили в Пор-Рояле, если желаете знать, за ту миссию, о которой вы знаете не знаете, на Ямайке. Виселица стоит на скале. Когда они помирают, их срезают и сбрасывают в море. Остальное доканчивают акулы. Спасибо за вино.

АНТУАН. Саспортас. Я — тот Антуан, которого ты искал. Я должен остерегаться, Франция больше не республика. Наш консул стал императором и завоевывает Россию. Когда набьешь брюхо, легче рассуждать о проигранной революции. О крови, спущенной по дешевке за жезл медалей. Крестьяне тоже ничего лучше не придумали, верно? И может, они были правы, верно? Торговля процветает. Пусть эти, которые на Гаити, жрут теперь свою землю. Это была негритянская республика. Свобода ведет народ на баррикады, а когда мертвые просыпаются, она надевает мундир. Я сейчас открою тебе одну тайну: она тоже — просто шлюха. И я уже научился над этим смеяться. Ха-ха-ха. Но вот тут пропало что-то, что было живым. Я видел, как народ штурмовал Бастилию, видел, как голова последнего из Бурбонов упала в корзину. Мы собрали жатву из голов аристократов. Жатву из голов предателей.

ЖЕНЩИНА. Хороша жатва. Ты опять напился, Антуан.

АНТУАН. Она не любит, когда я вспоминаю свое золотое время. Я заставлял Жиронду дрожать от ужаса. А теперь погляди, что случилось с моей Францией. Грудь истощена. Между бедрами — пустыня. Мертвый корабль в прибое девятнадцатого века. Видишь, как она давится. Франции нужна кровавая баня, и этот день придет.

Антуан выливает красное вино себе на голову.

МАТРОС. В этом я ничего не смыслю. Я матрос, я не верю в политику. Мир везде разный. Вот письмо. (Уходит.)

АНТУАН (кричит). Будь осторожен, матрос, выходя из моего дома. Полицейские нашего министра Фуше не станут спрашивать, веришь ли ты в политику, Галлудек. Саспортас. Где твоя нога, Галлудек? Почему у тебя вывалился из глотки язык, Саспортас? Чего вы от меня хотите? Я не отрезал твоей ноги. Не наживай тебе на шею веревку. Может, мне твою ногу отрезать? Хочешь, рядом с тобой повешусь? Насчет ноги. Спроси у твоего императора, Галлудек. Покажи язык своему императору, Саспортас. Он одерживает победы в России, я могу указать вам дорогу. Чего вы от меня хотите? Ступайте. Ступайте прочь. Исчезните. Скажи им, жена. Скажи им, чтобы они ушли, я не хочу их больше видеть. Вы еще здесь. Твое письмо пришло по адресу, Галлудек. Вот оно. Во всяком случае, у вас это все позади. Да здравствует республика. (Смеется.) Вы небось думаете, что я преуспеваю. Проголодались. Вот вам. (Бросается едой в мертвых.)

ЖЕНЩИНА. Ложись в постель, Антуан.

АНТУАН. Пока грудная клетка Собаке сердце держит, На небо съездим, детка, За небольшую мзду...

Во время совкупления появляется Ангел Отчаяния.

АНТУАН (голос). Кто ты.

ЖЕНЩИНА (голос). Я — Ангел Отчаяния. Я своими руками раздаю опьянение, дурман, забытие, вожделение и муки плоти. Моя речь — молчание, моя песня — крик. В тени моих крыльев обитает ужас. Моя надежда — последний вздох. Моя надежда — первая битва. Я — нож, которым мертвый вскрывает свой гроб. Я тот, кто будет. Мой полет — восстание, мое небо — бездна грядущего дня.

Мы прибыли на Ямайку, три эмиссара французского Конвента, наши имена — Дебюиссон, Галлудек, Саспортас, наша миссия — восстание рабов против господства британской короны во имя Республики Франции. Она родина революции, гроза тронов, надежда бедных. Все ее граждане равны под топором справедливости. Пусть у нее не хватает хлеба, чтобы утолить голод предместий, но зато хватит рук, чтобы нести во все страны зажженные факелы свободы, равенства, братства. Мы стояли на площади у гавани. В центре площади была установлена клетка. Мы слышали ветер с моря, жесткий шорох пальмовых листьев, шуршание пальмовых веточек, которыми негритянки сметали пыль с площади, стоны раба в клетке, шум прибора. Мы видели груди негритянок, исполованное в кровь тело раба в клетке, дворец губернаторов. Мы сказали: Это Ямайка, позорное пятно Антильских островов, невольничий корабль в Карибском море.

САСПОРТАС. И он им останется, пока мы не сделаем нашу работу.

ГАЛЛУДЕК. Можешь начинать. Разве ты прибыл не затем, чтобы освободить рабов? Вот это существо в клетке — раб. Если сегодня его не освободить, завтра о нем придется говорить в прошедшем времени.

ДЕБЮИССОН. В клетках выставляют тех, кто пытался бежать, или за другие преступления, для острастки, и держат их на солнце, пока они не умрут от жары. Так было уже десять лет назад, когда я уезжал с Ямайки. Не смотри туда, Саспортас, одному мы не поможем.

ГАЛЛУДЕК. Умирает всегда один. Считают мертвых.

ДЕБЮИССОН. Смерть — маска революции.

САСПОРТАС. Когда я буду отсюда уезжать, в клетках окажутся другие, с белой кожей, пока она не сгорит дочерна. Тогда мы поможем многим.

ГАЛЛУДЕК. Может быть, лучше установить гильотину. Это чище. Красная Вдова — лучшая уборщица.

ДЕБЮИССОН. Возлюбленная предместий.

САСПОРТАС. Я продолжаю утверждать, что для белой кожи, если солнце стоит достаточно высоко, клетка — самое милое дело.

ГАЛЛУДЕК. Гражданин Саспортас, мы здесь не для того, чтобы бахвалиться друг перед другом цветом нашей кожи.

САСПОРТАС. Мы не равны, пока не сдерем друг с друга кожу.

ДЕБЮИССОН. Плохое начало. Наденем наши маски. Я тот, кем я был: Дебюиссон, сын рабовладельца с Ямайки, законный наследник плантации с четырьмя сотнями рабов. Я возвратился в лоно семьи, чтобы вступить во владение сво-

им наследством, сменил затянутое тучами небо Европы, мрачное от дыма пожаров и кровавых испарений новой философии, на чистый воздух Карибских островов; ужасы революции открыли мне глаза на вечную истину, что все старое лучше всего нового. К тому же я врач, я призван нести помощь людям, невзирая на лица, господам и рабам. Я исцеляю одного ради другого, дабы все оставалось как есть, и пока так продолжается, мое лицо — розовое лицо рабовладельца, которому нечего бояться на этом свете, кроме смерти.

САСПОРТАС. И своих рабов.

ДЕБЮИССОН. Кто ты, Галлудек?

ГАЛЛУДЕК. Крестьянин из Бретани, который научился ненавидеть революцию в кровавом дожде гильотины, я хотел, чтобы этот дождь пролился еще щедрее, и не только на Францию. Верный слуга милостивого господина Дебюиссона, я верую в священный порядок монархии и церкви. Надеюсь, мне не придется слишком часто повторять эту молитву.

ДЕБЮИССОН. Ты два раза сбился с роли, Галлудек. Кто ты такой?

ГАЛЛУДЕК. Крестьянин из Бретани, который научился ненавидеть революцию в кровавом дожде гильотины. Верный слуга милостивого господина Дебюиссона. Верую в священный порядок монархии и церкви.

САСПОРТАС (передразнивает). Верую в священный порядок монархии и церкви. Верую в священный порядок монархии и церкви.

ДЕБЮИССОН. Саспортас. Твоя маска.

ГАЛЛУДЕК. Тебе с твоей черной кожей будет нетрудно войти в роль раба, Саспортас.

САСПОРТАС. Я бежал с Гаити, где одержала победу черная революция, и присоединился к господину Дебюиссону, поскольку Господь создал меня для рабства. Я его раб. Этого хватит.

Галлудек аплодирует.

В следующий раз я отвечу тебе ножом, гражданин Галлудек.

ГАЛЛУДЕК. Знаю, ты играешь самую трудную роль, Саспортас. Она написана у тебя на теле.

САСПОРТАС. Бичами. И бичи напишут новый алфавит на других телах, которые попадутся нам в руки.

ДЕБЮИССОН. "Одержала победу революция" — неудачно. Так не говорят с господами. "Черная революция" — тоже неудачно. Если уж на то пошло, черные устраивают бунт, а не победоносную революцию.

САСПОРТАС. Разве на Гаити не победила революция? Черная революция.

ДЕБЮИССОН. Победил низкий сброд. Власть на Гаити захватил сброд.

Саспортас сплевывает.

ДЕБЮИССОН. Не туда плюешь: твой господин — я. Теперь говори.

САСПОРТАС. Я бежал с Гаити от сброда, который превратил Гаити в клоаку.

ГАЛЛУДЕК. Клоака — это хорошо. Ты быстро усваиваешь, Саспортас.

ДЕБЮИССОН. Убери руки с глаз и взгляни на живую плоть, которая умирает в этой клетке. Ты тоже, Галлудек. Это твоя и моя плоть. Ее стоны — марсельеза тел, на которых строится новый мир. Запомните мелодию. Мы еще долго будем слышать ее, по своей или не по своей воле, это мелодия



По-немецки пьеса Хайнера Мюллера называется "Auftrag", что означает "поручение", "задание". В корне слова — глагол "tragen" — нести. Речь идет о партийном задании, как о непосильной неподъемной ноше, невыносимом бремени ответственности, взваленном на человека, принимающего решения в эпохе революций, войн, восстаний, мятежей, государственных переворотов и прочих всплесков социальной энергии. Когда происходит это извержение, лава вырывается из жерла, растекается по миру, хороня под собой все живое. Экспорт революций — не чепуха. Экспорт революций преступление против человечества. И оно продолжается, начиная со взятия Бастилии, двести с лишним лет. 14 июня Франция отметит его годовщину как свой национальный праздник.

Элла ВЕНГЕРОВА

революции, нашей работы. Многие умрут в этой клетке, прежде чем будет сделана наша работа. Многие умрут в этой клетке, потому что мы делаем нашу работу. Вот что мы делаем для таких, как мы, нашей работой, и, может быть, только это. Наше место в клетке, если мы раньше времени сорвем наши маски. Революция — маска смерти. Смерть — маска революции.

Входит огромный Негр.
Вот самый старый раб моей семьи. Он глух и нем, что-то между человеком и псом. Он плюнет в клетку. Следовало бы и тебе сделать то же, Саспортас, чтобы ты научился ненавидеть свою черную кожу на время, пока это необходимо. Потом он поцелует мне туфли, видите, он уже облизывает губы, и на собственной спине, хрюкая от блаженства, отнесет меня, своего старого и нового хозяина, в дом моих предков. Семья примет меня в свое лоно, завтра начнется наша работа.
Огромный Негр плюет в клетку, смотрит на Саспортаса, кланяется Галлудеку, целует туфли Дебюиссону, уносит его на спине. Галлудек и Саспортас следуют за ним.

Революция маска смерти смерть маска Революции Революция маска смерти смерть маска Революции Революция маска смерти смерть маска Революции Революция маска смерти смерть маска Революции Революция маска смерти смерть маска Революции Революция маска смерти смерть маска Революции Революция

Возвращение блудного сына. Отец и Мать в открытом шкафу. На троне Первая Любовь. Рабы разрезают и наряжают Дебюиссону, Галлудеку и Саспортаса.
Дебюиссон в костюме рабовладельца, Галлудек — надсмотрщика с бичом, Саспортас — раба.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. Маленький Виктор играл в революцию. Теперь он возвращается домой, в лоно семьи. Домой к папе с источенным червями черепом. Домой к маме с ее запахом увядших цветов. Ты ушибся, тебе больно, маленький Виктор. Подойди ближе и покажи свои раны. Ты меня больше не узнаешь. Не надо меня бояться, маленький Виктор. Не надо. Совсем не надо бояться своей первой любви. Которой ты изменил с Революцией, твоей второй любовью, хотя она вся в крови. Ты десять лет валялся с ней в канаве, деля ее с чернью. Или в моргах, где она считает свою добычу. Я слышу запах ее смрадных духов. Слезы, маленький Виктор. Ты так сильно ее любил. Ах, Дебюиссон. Я же говорила тебе, она шлюха. Змея, чьи срамные органы упиваются кровью. Рабство — закон ее природы, старый как человечество. И исчезнет не раньше, чем оно. Взгляни на моих, на твоих рабов — нашу собственность. Всю свою жизнь они были животными. Неужели они станут людьми только потому, что во Франции написали об этом на бумаге. Которую почти нельзя прочесть, столько на ней крови, много больше, чем пролито ради рабства здесь на твоей и моей прекрасной Ямайке. Я расскажу тебе одну историю: на Барбадосе был убит плантатор через два месяца после отмены рабства. Они пришли к нему, своему освободителю. Они упали на колени, как в церкви. И знаешь, чего они хотели? Вернуться назад в безопасное убежище рабства. В этом весь человек: его первая родина — это мать, тюрьма.

Рабы задирают юбки стоящей в шкафу Матери, забрасывают их ей на голову.

Вот она разверзается, эта родина, вот оно зияет, лоно семьи. Скажи только слово, если захочешь назад, и она затолкает тебя внутрь, эта идиотка, вечная мать. Тому бедняге на Барбадосе так не повезло. Они дубинами забили его на смерть, эти больше — не рабы, как бешеную собаку, за то, что из холодной весны свободы он не взял их назад, под любимый бич. Нравится тебе эта история, гражданин Дебюиссон? Свобода живет на спинах рабов, равенство — под топором. Хочешь быть моим рабом, маленький Виктор? Любишь меня? Вот губы, которые тебя целовали.

Рабыня малюет ей большой рот.
Они помнят твою кожу, Виктор Дебюиссон. Вот груди, которые тебя согрели, маленький Виктор.

Рабыня красит ей соски и так далее.
Они не забыли твоих губ и твоих рук. Вот кожа, которая пила твой рот. Вот лоно, воспринявшее твою семя, которое сожгло мне сердце.

Рабыня рисует ей синее сердце.
Ты видишь это синее пламя. Знаешь, как ловят на Кубе беглых рабов? За ними охотятся с легавыми собаками. И я хочу вернуть себе, гражданин Дебюиссон, то, что украла у меня твоя шлюха, Революция, — мою собственность.

Рабы, изображающие собак, которых криками "Ату его!" науськивают Галлудек с бичом и призрак Отца, травят Дебюиссона.

Зубами моих собак я выгрызу из твоей запятнанной плоти след моих слез, мой пот, стоны моей страсти. Ножами их костей выкрою из твоей шкуры свой подвеченный наряд. Твое дыхание с привкусом мертвых королевских тел я переведу на язык муки, уготованной рабам. Я съем твой мужской член и рожу тигра, который поглотит время, которым часы бьют по моему пустому сердцу, через которое идут дожди тропиков.

Рабыня надевает на нее маску тигра.
Вчера я начала
Убивать тебя, мое сердце
Теперь я люблю твой труп,
Когда я умру,
Мой прах зарыдает по тебе.

Я подарю тебе эту суку, маленький Виктор, чтобы ты наполнил ее твоим испорченным семенем. Но прежде я прикажу бичевать ее, чтобы ваша кровь смешалась. Ты меня любишь, Дебюиссон? Нельзя оставлять женщину одну.

Рабы отбирают у Галлудека бич, запирают шкаф, разгромивают Первую Любовь, усаживают Дебюиссона на трон, Первая Любовь служит скамейкой для ног, наряжают Галлудека и Саспортаса Дантоном и Робеспьером. Театр Революции открыт. Пока двое актеров и публика занимают свои места, из шкафа слышится диалог родителей.

ОТЕЦ. Это восстание плоти. Ибо червь грызет вечно и огонь не гаснет.

МАТЬ. Он снова блудит всюю. Крак — теперь разбилось мое сердце, видите.

ОТЕЦ. Я дарю их тебе, сын мой. Я дарю тебе обеих, черную и/или белую.

МАТЬ. Выньте нож из моего живота. Размалеванные шлюхи.

ОТЕЦ. На колени, каналья, и проси у мамы благословения.

МАТЬ. На горе на высокой
Там ветер забыл,
Там отрок небесный
Марию убил.

Домой в Гренландию. Идемте, дети мои. Там каждый день греет солнце.

ОТЕЦ. Заткните рот этой идиотке.

САСПОРТАС Робеспьер. Ступай на свое место, Дантон, к позорному столбу истории. Погляди на этого тунеядца — он объедает голодных. На этого распутника — он растлевает дочерей народа. На этого предателя — он морщится от запаха крови, в которой Революция купает новорожденное общество. Сказать тебе, почему ты не можешь больше видеть крови, Дантон? Ты говорил "Революция"? Твоя Революция значит, что ты урвешь для себя горшок с мясом. Свободное место в борделе. Ради этого ты распускал хвост на трибунах, срывая овации черни. Лев, который лижет сапоги аристократов. Вкусна ли тебе слюна Бурбонов? Тепло ли тебе в заднице монархии? Ты говорил "Отвага"? Тряси, тряси своей нагрудной гривой. Ты все равно перестанешь издеваться над добродетелью, как только твоя голова падет под топором справедливости. Ты не посмеешь сказать, что я не предупреждал тебя, Дантон. Теперь с тобой побеседует гильотина, возвышенное изобретение новой эпохи, она переступит через тебя, как через всех предателей. Ты поймешь ее язык, ты хорошо говорил на нем в сентябре.

Рабы отрубают Галлудеку голову Дантона, перебарываются ею. Галлудеку удаётся ее поймать, он зажимает ее под мышкой.

Ты лучше зажми свою красивую голову между ног, где во вшах твоего разврата и опухолях твоего греха сидит твой разум.

Саспортас вышибает голову Дантона из-под мышки у Галлудека. Галлудек ползет к голове, надевает ее.

ГАЛЛУДЕК Дантон. Теперь моя очередь. Погляди на эту обезьяну со сломанной челюстью. На кровопийцу, истекающего слюной. Ты слишком набил рот. Неподкупный, с твоими воплями о добродетели. Вот она, благодарность отечества — жандармский кулак.

Рабы срыгают с головы Саспортаса повязку, поддерживающую челюсть, челюсть отваливается. Саспортас начинает искать челюсть и повязку.

У тебя что-то упало? Чего-то не хватает? Собственность есть кража. Чувствуешь ветер в глотке? Это свобода.

Саспортас нашел челюсть и повязку и снова сооружает голову Робеспьера.

Смотри, Робеспьер, как бы из-за любви народа совсем не лишиться умной головы. Ты сказал "Революция"? Топор справедливости, не так ли? Гильотина — не пекарня. Экономка, друг Горацио, экономка.

Рабы сбивают с Саспортаса голову Робеспьера и играют ею в футбол.

Вот это равенство. Да здравствует Республика. Разве я не говорил тебе: ты следующий.

Присоединяется к рабам, играющим в футбол.
Вот это братство.

САСПОРТАС Робеспьер (вопит). Чем тебе не нравится футбол? Entre nous: сказать тебе, почему ты позарился на мою красивую голову? Держу пари, если ты снимешь штаны, песок посыплется. Дамы и господа! Театр Революции открыт. Спешите видеть наш аттракцион: мужчина без живота. Максимилиан Великий. Честный Макс. Пердун в кресле. Арасский мудака. Робеспьер Кровавый.

САСПОРТАС Робеспьер (снова надевает голову). Мою имя вписано в анналы истории.

ГАЛЛУДЕК Дантон.

Вон хилый человек
Стоит в лесу глухом
Надет пурпурный плащик
На тихом и немом.

САСПОРТАС Робеспьер. Паразит, сифилитик, лизоблюд аристократов.

ГАЛЛУДЕК Дантон. Ханжа, евнух, лакей Уолл-стрита.

САСПОРТАС Робеспьер. Свиныя.

ГАЛЛУДЕК Дантон. Гиена.

Снова отшибают друг другу головы. Дебюиссон аплодирует. Рабы стаскивают его с трона, сажают на трон Саспортаса, Галлудек служит скамейкой для ног. Коронация Саспортаса.

САСПОРТАС. Театр белой Революции окончен. Мы приговариваем тебя к смерти, Виктор Дебюиссон. За то, что у тебя

белая кожа. За то, что мысли твои под белой кожей тоже белые. За то, что твои глаза видели красоту наших сестер. За то, что твои руки осызали наготу наших сестер. За то, что твои мысли пожирала их груди, их плоть, их срам. За то, что ты владелец, господин. За это мы приговариваем тебя к смерти, Виктор Дебюиссон. Пусть твое дерьмо проглотят змеи, твою задницу — крокодилы, твои яйца — пираньи.

Дебюиссон кричит.

Беда ваша в том, что вы не умеете умирать. Поэтому вы убиваете все вокруг себя. Ради ваших мертвых порядков, где нет места забвению и упоению. Ради ваших бесплодных революций. Ты любишь эту женщину? Мы возьмем ее, чтобы тебе было легче умирать. Тому, кто не владеет, умирать легче. Что там еще у тебя? Говори скорей, наша школа — время, оно не возвращается, и для дидактики не хватает дыхания, кто не учится, также умирает. Твоя кожа. У кого ты содрал ее? твоя плоть насыщается нашим голодом. Твоя кровь опустошает наши жилы. Твои мысли, не так ли? Кто потеет ради твоих философий. Твоя моча и твои экскременты суть эксплуатация и рабство. Не говоря уже о твоём семени: оно выжимка из мертвых тел. Теперь у тебя нет больше ничего. Теперь ты ничто. Теперь ты можешь умирать. Закапайте его.

Вместе с другими, незнакомыми мне мужчинами я стою в старом расхлябанном лифте на механической тяге. Я одет как чиновник или как рабочий в выходной день. Я даже повязал галстук, воротник натирает шею, я обливаюсь потом. Когда я поворачиваю голову, галстук не дает мне дышать. Я вызван к шефу (мысленно я называю его "Первым"), я боюсь опоздать, его кабинет на четвертом этаже или на двадцатом; стоит мне подумать об этом, как я начинаю нервничать. Вызов к шефу (которого я мысленно называю "Первым") застал меня в подвале, длинном и узком бункере с пустыми бетонированными камерами и табличками "Бомбубежище". Думаю, мне будет поручено какое-то задание, какая-то миссия. Я проверяю, как сидит галстук и даже затягиваю узел. Жаль, нет зеркала. Не спрашивать же у посторонних, правильно ли завязан узел на твоём галстуке. На других мужчинах в лифте галстуки сидят безупречно. Некоторые из них, кажется, знакомы друг с другом. Они тихо беседуют о чем-то, чего я совершенно не понимаю. Тем не менее их разговор, наверное, отвлек меня: на следующей остановке я с ужасом вижу над дверью лифта число восемь. То ли я проехал свой этаж, то ли мне еще предстоит одолеть больше половины расстояния. Решает фактор времени. За пять минуток приходит, вот что значит точным быть. Когда я последний раз смотрел на часы, на них было десять. Я вспоминаю, как почувствовал облегчение: до срока, назначенного шефом, оставалось еще пятнадцать минут. В следующий раз часы показали, что прошло всего пять минут. Теперь, между восьмью и девятым этажом я снова гляжу на часы и на них уже десять часов четырнадцать минут сорок пять секунд: я уже точно опоздал, время больше не работает на меня. Я быстро обдумываю свое положение: может, выйти на следующей остановке и, перепрыгивая через три ступени, пробежать по лестнице вниз до четвертого этажа. Если мне надо не на четвертый, это, разумеется, будет означать безвозвратно упущенное время. Можно проехать дальше до двадцатого этажа, и если кабинета шефа там не окажется, вернуться на четвертый этаж, при условии, что лифт не застрянет, или пробежать вниз по лестнице (перепрыгивая сразу через три ступени) и при этом сломать себе ногу или шею, как раз потому, что я спешу. Я уже вижу себя распростертым на носилках, которые по моей просьбе вносят в кабинет шефа и ставят у его письменного стола, я все еще готов ему служить, но больше на это не способен. Покуда все сводится к вопросу, на который я по своей нерадивости заранее не получил ответа, — на каком этаже шеф (которого я мысленно называю "Первым") ждет меня с важным заданием. (Задание должно быть важным, иначе он передал бы мне его через подчиненного). Быстрый взгляд на часы неопровержимо свидетельствует, что и для простой точности давно уже слишком поздно, хотя наш лифт, как я вижу, еще не достиг двенадцатого этажа: часовая стрелка стоит на десяти, минутная — на пятидесяти, секунды уже давно не имеют значения. Видимо, что-то не в порядке с моими часами, но на то, чтобы сверить часы, уже не остается времени: я и не заметил, что остальные пассажиры где-то вышли, я остался в лифте один. С ужасом, от которого волосы встают дыбом, я гляжу на мои часы, от которых больше не могу оторвать взгляда: стрелка все быстрее описывает круг на циферблате, так что часы проходят в мгновение ока. Мне становится ясно, что уже давно что-то не в порядке: с моими часами, с этим лифтом, со временем. Я начинаю лихорадочно соображать: ослабевает сила притяжения, какая-то помеха, словно застревает вращение земли и происходит что-то вроде судороги у футболиста. Жаль, что я так мало смысла в физике и не могу научно разрешить вопиющего противоречия между скоростью лифта и течением времени на моих часах. Зачем только я был невнимателен на уроках в школе. Или читал посторонние книги: физику вместо физики. Время распалось, и где-то на четвертом или двадцатом этаже (это "или" ножом пронзает мой нерадивый мозг) в своем, наверное, просторном и устланном тяжелым ковром кабинете, за письменным столом, который, наверное, стоит в конце помещения прямо против входной двери, меня ждет с поручением шеф, а я его подвожу. Может быть, мир рушится, и мое поручение настолько важно, что шеф (мысленно я называю его "Первым") хотел передать его мне лично, уже потеряло смысл из-за моей нерадивости, стало **беспредметным**, выражаясь языком чиновников, так хорошо мною усвоенным (избыточная наука!), отправлено в **архив**, куда никто больше не заглянет, поскольку оно как раз касалось последнего важного мероприятия, направленного на предотвращение гибели, начало которой я ощущаю вот теперь, сейчас, запертый в этом обесившемся лифте, глядя на мои обесившиеся часы. Отчаянный сон во сне: я обретаю способность, просто свернувшись, превратить свое тело в снаряд, который, пробив потолок лифта, обгонит время.

Окончание на 14-15 страницах.



Хайнер МЮЛЛЕР

МИССИЯ

Воспоминание об одной революции

Окончание. Начало на 8-9 страницах.

Обливаясь холодным потом, я просыпаюсь в медленно движущемся лифте, чтобы взглянуть на часы. Я представляю себе отчаяние Первого. Его самоубийство. Его голову, чей портрет украшает все служебные кабинеты, на письменном столе. Кровь из окаймленной черным дыры в (наверное, правом) виске. Я не слышал выстрела, но это ничего не доказывает, стены его кабинета, конечно, звуконепроницаемы, при постройке такие инциденты предусмотрены, и то, что происходит в бюро шефа, населения не касается, власть одинока. На следующей остановке я выхожу из лифта и стою без поручения, с ненужным более галстуком, который все еще смешно и жалко болтается у меня под подбородком, на проселочной дороге в Перу. Высохшая грязь со следами телег. По обеим сторонам дороги расстилается холодная лысая равнина с редкими рубцами травы и пятнами серого кустарника, она тянется до горизонта, где в туманной дымке плывет горный хребет. Слева от дороги — строение, похожее на барак, оно кажется заброшенным, окна — черные дыры с остатками стекол. Перед плакатным щитом с рекламой продуктов какой-то неведомой цивилизации стоят двое огромных туземцев. Их спины внушают ужас. Я думаю, не вернуться ли мне назад, пока меня не заметили. Никогда бы я не поверил, во время моего отчаянного подъема к шефу, что буду тосковать по этому лифту, моей тюрьме. Как мне объяснить свое присутствие в этой безлюдной стране? У меня нет ни парашюта, ни самолета, ни разбитого автомобиля. Кто мне поверит, что я попал в Перу из лифта, впереди и позади меня дорога, по сторонам дороги равнина, которая тянется до горизонта. Как вообще найти понимание, я не знаю языка этой страны, с таким же успехом я мог бы быть глухонемым. Лучше бы мне быть глухонемым — возможно, в Перу есть сострадание. Мне остается лишь бегство в пустыню, где, я надеюсь, нет людей, может быть, из одной смерти в другую, но я предпочитаю голод ношу убийцы. Во всяком случае, откупиться мне нечем, с моей-то мелочью в иностранной валюте. Мне даже не даровано судьбой умереть на посту, мое дело — проигранное дело, я чиновник покойного шефа, мое поручение замкнулось в его мозгу, который больше не выдаст, пока не раскроются сейфы вечности, шифр к которым подбирают мудрецы мира, по эту сторону смерти. Я спешу развязать узел галстука, правильное положение которого стоило мне столько пота по дороге к шефу, и засовываю этот броский предмет туалета в карман пиджака. Я чуть было его не выбросил, оставил бы след. Обернувшись, я впервые вижу деревню: глина и солома, в открытую дверь можно разглядеть гамак. Меня прошибает холодный пот при мысли, что за мной оттуда наблюдали, но я не вижу никаких признаков жизни, разве что замечаю собаку, которая роется на дымной помойке. Я слишком долго колебался: двое мужчин отрываются от плакатного щита и идут наискось через дорогу ко мне, поначалу на меня не глядя. Я вижу над собой их лица: одно смутно-черное, белые глаза, взгляд, которого не поймать, глаза без зрачков. Голова другого из серого серебра. Долгий, спокойный взгляд, цвет глаз я не могу определить, в нем мерцает что-то красное. По пальцам тяжело свисающей правой руки, которая тоже кажется отлитой из серебра, пробегают дрожь, сквозь металл просвечивают кровеносные сосуды. Серебряный проходит сзади мимо меня вслед за Черным. Мой страх исчезает, уступая место разочарованию: неужто я не стою хотя бы удара ножа или мертвой хватки металлических рук. В спокойном взгляде, брошенном на меня с расстояния, сквозило что-то вроде презрения. В чем мое преступление? Мир не погиб, если, конечно, это — не иной мир. Как выполнить неизвестное поручение? Что могло бы стать моей миссией в этой дикой местности по ту сторону цивилизации? Откуда подчиненному знать, что происходит в голове у шефа? Никакая наука на свете не извлечет мое невыполненное поручение из мозговых волокон шефа. Оно будет похоронено с ним, торжественные похороны за счет государства, которые сейчас уже, наверное, идут полным ходом, не гарантируют воскресения. Во мне ширится чувство, похожее на радость, я снимаю пиджак, перекидываю его через руку, растегаиваю рубашку, я уже не иду, а прогуливаюсь. Передо мной через улицу перебегают собака, держа в зубах чью-то руку, пальцы которой обращены ко мне, они кажутся обгоревшими. С угрожающим видом, который относится не ко мне, дорогу пересекают молодые люди. Там, где дорога выходит на равнину, в позе ожидания стоит женщина, она ждет меня. Я протягиваю к ней руки, как давно они не касались женщины, и слышу мужской голос: **Эта женщина — жена одного человека.** Тон не допускает возражений, и я иду дальше. Когда я оглядываюсь, женщина протягивает ко мне руки и обнажает грудь. На заросшей мостовой двое мальчишек мастерят нечто среднее между паровой машиной и локомотивом, стоящее на сломанных рельсах. Я, европеец, с первого взгляда вижу, что их усилия напрасны: машина не будет двигаться, но детям я этого не говорю, работа — это надежда, я иду дальше, углубляясь в ландшафт, который только и ждет исчезновения человека. Теперь я знаю свое предназначение. Я сбрасываю одежду, теперь внешность не имеет значения. Когда-нибудь мне навстречу выйдет **другой**, антипод, двойник с моим лицом из снега. Один из нас выживет.

Дебюиссон. Галлудек. Саспортас.
Дебюиссон дает Галлудеку какую-то бумагу. Галлудек и Саспортас читают.

ДЕБЮИССОН. Правительство, поручившее нам организовать здесь, на Ямайке, восстание рабов, смещено. Генерал Бонапарт, опираясь на штыки своих гренадеров, распустил Директорию. Теперь Франция — это Наполеон. Мир снова таков, каким был, родина господ и рабов.

Галлудек мнет бумагу.

Ну что вы пялитесь. Нашей фирмы нет больше в торговом реестре. Она обанкротилась. Товар, которым мы собирались торговать, оплачиваемый в местной валюте “слезы-пот-кровь”, не находит больше спроса в этом мире.

Галлудек рвет бумагу.
Я освобождаю нас от нашей миссии. Тебя, Галлудек, крестьянина из Бретани. Тебя, Саспортас, сына рабства. Меня, Дебюиссона...

САСПОРТАС (тихо). ...сына рабовладельца.

ДЕБЮИССОН. Каждому — своя свобода и свое рабство. Наш спектакль окончен, Саспортас. Разгримировывайся осторожнее, Галлудек. Может сойти твоя собственная кожа. Твоя маска, Саспортас, — это твое лицо. Мое лицо — это моя маска. (Закрывает лицо руками.)

ГАЛЛУДЕК. Слишком уж ты скорый, Дебюиссон. Я крестьянин, тугодум. Я больше года рисковал головой, рвал глотку, проповедуя на тайных собраниях, занимался контрабандой оружия через кордоны легавых собак, акул и шпионов, как идиот, разыгрывал твоего верного пса за столами английских головорезов, сгорал на солнце и трясся в лихорадке на этой проклятой Богом земле, где нет снега, и все ради ленивой кучи черного мяса, которую можно сдвинуть с места только сапогом, а какое мне дело до рабства на Ямайке, если на то пошло, я француз, погоди, Саспортас, но чтоб мне почернеть на этом месте, если я понимаю, почему мне говорят, что на всем теперь поставлен крест и все псу под хвост и нет больше никакого дела, никакой миссии, потому что какой-то генерал в Париже бесится с жиру. Он даже и не француз вовсе. Но послушать тебя, Дебюиссон, так можно подумать, ты только и ждал этого генерала Бонапарта.

ДЕБЮИССОН. Может быть, я действительно ждал этого генерала Бонапарта. Так же, как его ждала половина Франции. Революция утомяет, Галлудек. Пока народы спят, генералы просыпаются и разбивают ярмо свободы, которое так тяжело нести. Ты чувствуешь, как оно сгибает тебе плечи, Галлудек?

САСПОРТАС. Я, кажется, тоже не понимаю тебя, Дебюиссон. Больше не понимаю. Мир — Родина господ и рабов. У рабов не бывает родины, гражданин Дебюиссон. И пока есть господа и рабы, никто не снимет с нас нашей миссии. Какое нам дело до генеральского путча в Париже, наше дело — освобождение рабов на Ямайке. Десять тысяч рабов ждут нашего приказа, твоего, если угодно. Но приказ может быть отдан и не твоим голосом. Они не спят, они не ждут какого-то генерала. Они готовы убивать и умирать за твое **ярмо свободы**, о котором мечтали всю жизнь — а свобода для них ежедневная смерть, — как о неизвестной возлюбленной. Эти мужчины не спрашивают, хорош ли у нее бюст и сохранила ли она невинность. Что им до Парижа, далекой кучи камней, которая так недолго была опорой их надежд. Что им до Франции, страны, где солнце не может убивать, где кровь так недолго имела цвет утренней зари. Что для них этот блеклый континент за Атлантикой. Кто вспомнит о нашем генерале, я уже забыл, как его звать, если во всех учебниках будет стоять имя освободителя Гаити.

Дебюиссон смеется.

САСПОРТАС. Ты смеешься.

ДЕБЮИССОН. Я смеюсь, Саспортас, спроси почему.

САСПОРТАС. Может, я опять тебя не понял. Не знаю, убить тебя или извиниться.

ДЕБЮИССОН. Делай что хочешь, Саспортас.

САСПОРТАС (смеется). Ах, Дебюиссон. А я уж решил, что ты и взаправду так считаешь. Не понял я тебя. Не понял, что ты меня проверял. Не выдержал я проверки, да? Каждый из нас должен быть холоден, как нож, когда подадут сигнал и начнется битва. Мои нервы дрожат не от страха, а от радости. То-то мы попляшем. Я уже слышу бой барабанов, хотя они еще молчат. Я слышу его порами, у меня черная кожа. Но я усомнился в тебе, и это не хорошо. Прости меня, Дебюиссон. Ты погрузил свои руки в кровь ради нашего дела. Я видел, что тебе это далось тяжело. Я люблю тебя за это и за другое, Дебюиссон, ведь тот, кого пришлось убить, чтобы он не предал нашего дела, был такой, как я, и ему нужно было умереть до очередной пытки, для которой ты как врач и радетель человечества должен был вылечить его от последствий предыдущей, но он сказал: “Убей меня, чтобы я не смог предать. И ты убил его ради нашего дела как врач и революционер. (Обнимает Дебюиссона.)



ДЕБЮИССОН. Напрасно ты извиняешься, Саспортас, это была не проверка. Наши имена не попадут в учебники, и твой освободитель Гаити, где сейчас освобожденные негры нападают на освобожденных мулатов или наоборот, еще долго будет дожидаться своего места в книге истории. А тем временем Наполеон превратит Францию в казарму, а Европу, наверное, в поле битвы, во всяком случае, торговля процветает, мир с Англией не заставляет себя долго ждать, выгодные сделки объединяют человечество. У революции больше нет родины, и это не ново под солнцем, которое, быть может, никогда не озарит обновленную землю, у рабства множество ликов, его последнего лица мы еще не видели, ни ты Саспортас, ни ты, Галлудек, и, быть может, то, что мы считали зарей свободы, было только маской нового, еще более ужасного рабства, по сравнению с которым господство бича на Карибах и где бы то ни было покажется приятным предвкушением райского блаженства, и, быть может, когда твоя неизвестная возлюбленная — свобода — сносит все свои маски, у нее останется только один лик — лик измены: то, чему ты не изменишь сегодня, завтра убьет тебя. С точки зрения гуманной медицины революция — мертворожденное дитя, Саспортас: из Бастилии — в Консьержери, освободитель становится тюремщиком. **Смерть освободителя** — такова последняя истина революции. И что касается убийства, совершенного мною ради нашего дела, так врач-убийца — не новая роль на общественной сцене, смерть для радателя человечества означает лишь иное химическое состояние, до победы пустыни любая руина означает попытку сопротивления всепоглощающему времени. Может быть, я просто умыл руки, Саспортас, когда погрузил их в кровь ради нашего дела, поэзия всегда была языком тщетных упований, мой черный друг. У нас теперь на шее другие трупы, и они погубят нас, если мы не сбросим их перед этой ямой. Твоя смерть зовется свободой, Саспортас, твоя смерть зовется братством, Галлудек, моя смерть зовется равенством. Хорошо было скакать на них верхом, когда они еще были нашими конями, а ветер будущего кружил нам головы. Теперь подул ветер прошлого. Конями оказались мы. Чувствуете, как шпоры вонзаются в плоть? В багаже наших всадников трупы террора, пирамиды смерти. Чувствуете, какая тяжесть? С каждым сомнением, проходящим по извилинам нашего мозга, они становятся тяжелее. У революции нет времени сосчитать своих мертвых. А нам теперь нужно время, чтобы дать отбой черной революции, которую мы так тщательно подготовили по поручению будущего, которое вновь стало прошлым, как прежде становились им и другие грядущие времена. Почему будущее в нашем языке имеет лишь единственное число, Галлудек? Может быть, у мертвых это не так, если у праха есть голос. Подумай об этом, Саспортас, прежде чем рисковать головой, чтобы освободить рабов, столкнуть их в про-

пасть, не имеющую больше дна с момента этого известия, которое я сейчас проглочу, чтобы не осталось и следа от нашей работы. Хотите и вы клочок? Это было наше поручение, наша миссия, от него остался только вкус бумаги. Завтра она пройдет путь всякой плоти, каждое вознесение на небеса имеет направление, и, может быть, из холодных пространств уже движется звезда, ком железа или металла, который раз и навсегда пробьет дыру в почве фактов, на которой мы снова и снова возвращаем наши хрупкие надежды. Или самый холод, превращающий наши "вчера" или "завтра" в вечное "сегодня". Зачем мы не деревья, Саспортас, которых все это не касается? Или ты предпочел бы стать горой? Или пустыней? Что скажешь, Галлудек? Почему вы пьетесь на меня как два камня? Почему мы не можем просто быть здесь и наблюдать войну ландшафтов? Чего вы от меня хотите? Умирайте своей собственной смертью, если вам не по вкусу жизнь. Я не собираюсь подталкивать вас в могилу, мне она тоже не по вкусу. Вчера мне снилось, будто я иду по Нью-Йорку. Местность была гиблая и не заселена белыми. Передо мной на тротуаре встала золотая змея, а когда я перешел через улицу, точнее, джунгли из кипящего металла, которые были улицей, то на другом тротуаре встала другая змея. Она была ярко-голубой. Во сне я понял: золотая змея — Азия, голубая змея — Африка. Проснувшись, я все забыл. Мы — три мира. Почему я сейчас это понимаю? И я слышал голос: И вот, сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег. Я больше не желаю всего этого знать. Тысячелетиями наши три возлюбленные подвергались осмеянию. Они валялись по всем канавам, шлялись по всем притонам, таскались по всем борделям, наша шлюха Свобода, наша шлюха Равенство, наша шлюха Братство. Теперь я хочу сесть там, где раздаётся смех, быть свободным для всего, что мне нравится, быть равным самому себе, быть братом самому себе и больше никому. Твоя шкура останется черной, Саспортас. Ты, Галлудек, останешься крестьянином. Над вами смеются. Мое место там, где над вами смеются. Я смеюсь над вами. Я смеюсь над негром. Я смеюсь над крестьянином. Я смеюсь над негром, который хочет отмыться себя свободой, добела. Я смеюсь над крестьянином, напавшим маску равенства. Я смеюсь над тупостью братства, которое сделало меня, Дебюиссона, хозяина четырехсот рабов — стоит мне только сказать "да", "да" и "да" священному порядку рабства, — слепым к твоей, Саспортас, поганой рабской шкуре, к твоей неуклюжей крестьянской походке, Галлудек, привычке ходить на четырех ногах, подставив шею под ярмо, как ходят волы в борозде на твоём поле, которое тебе не принадлежит. Я хочу получить свой кусок пирога в этом мире. Я отрежу себе мой кусок, вырежу его из голода мира. А вы... у вас нет ножа.

САСПОРТАС. Ты разорвал мое знамя. Я выкрою себе другое из моей черной кожи. *(Вырезает ножом крест на ладони.)* Прощай, гражданин Дебюиссон. *(Прижимает к его лицу свою кровотокающую руку.)* Как тебе на вкус моя кровь? Я сказал, что у рабов не бывает родины. Это не так. Родина рабов — восстание. Я иду в бой, вооружившись унижениями всей моей жизни. Ты вложил мне в руки новое оружие, и за это я тебе благодарен. Возможно, мне место на виселице, и, может быть, вокруг моей шеи уже захлестывается петля, пока я веду с тобой разговоры вместо того, чтобы убить тебя, ведь я не обязан тебе ничем, кроме моего ножа. Но смерть ничего не значит, я и на виселице буду знать, что мои сообщники — негры всех рас, их число растет с каждой минутой, которую ты проводишь у твоего хозяйского корыта или между ляжками твоей белой шлюхи. Если живые больше не могут бороться, бороться будут мертвые. С каждым биением сердца революции их кости облекаются плотью, кровь течет по жилам, жизнь пробуждается в смерти. Восстание мертвых будет войной ландшафтов, нашим оружием станут леса, горы, моря, пустыни мира. Я стану лесом, горой, морем, пустыней. Я — это Африка. Я — это Азия. Обе Америки — это я.

ГАЛЛУДЕК. Я с тобой, Саспортас. Умереть суждено нам всем, Дебюиссон. И это все, что у нас еще есть общего. После расправы на Гваделупе в куче трупов, сплошь черных, нашли одного белого, точно так же мертвого. С тобой, во всяком случае, этого уже не случится, Дебюиссон. Ты вышел из игры.

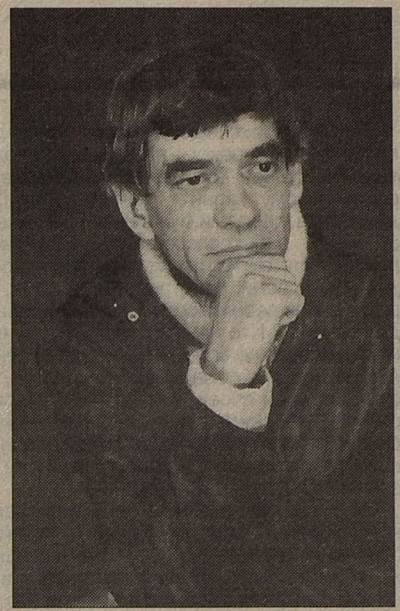
ДЕБЮИССОН. Останьтесь. Я страшусь, Галлудек, страшусь красоты мира. Я хорошо знаю, что это — маска измены. Не оставляйте меня в моей маске, которая уже срывается с моей плотью и уже не причиняет мне боли. Убейте меня прежде, чем я предаю вас. Я боюсь, Саспортас, боюсь позора быть счастливым в этом мире.

Говорил, шептал, кричал Дебюиссон. Но Галлудек и Саспортас ушли прочь, оставив Дебюиссона наедине с изменой, которая выполняла на него, как змея из камня. Дебюиссон закрывал глаза, чтобы не поддаваться искушению, не смотреть на свою первую любовь, которая была изменой. Измена плясала. Дебюиссон закрыл глаза руками. Он слышал, как его сердце билось в такт с этой пляской. С каждым биением сердца пляска убыстрялась. Дебюиссон чувствовал, как под ладонями вздрагивают веки. Может быть, пляска уже прекратилась, и только еще стучало его сердце, а измена, может быть, скрестив на груди руки, или уперев их в бедра, или уже зажав между колен, или уже, может быть, содрогаясь от сладострастного предвкушения, глядит затуманенным взглядом на него, Дебюиссона, а он кулаками вдавливает глаза в глазницы от страха перед своей жадной позорной счастья. Может быть, измена уже покинула его. Собственные алчные руки отказались ему повиноваться. Он открыл глаза. Измена с ухмылкой обнажила грудь, раздвинула бедра, ее красота ударила Дебюиссона как топор. Он забыл штурм Бастилии, голодный марш восьмидесяти тысяч, конец Жиронды, ее причастие, мертвеца за столом, Сен-Жюста, этого черного ангела, Дантона — голос революции, Марата, скрюченного на лезвии кинжала, раздробленную челюсть Робеспьера, его крик, когда палач сорвал повязку, его последний сострадательный взгляд на ликование толпы. Дебюиссон уцепился за последнее еще не покинувшее его воспоминание: песчаная буря перед Лас-Пальмасом, саранча вместе с песком попала на корабль и сопроваждала его через Атлантику. Дебюиссон сгибался под натиском песчаной бури, тер глаза, засыпанные песком, зажимал уши, стараясь заглушить стрекот саранчи. Потом измена низринута с него, как небо, заалело утренней зарей счастье срамных губ.

Перевела с немецкого
Элла ВЕНГЕРОВА

Малыщицкий — первый главный режиссер ныне хорошо известного Молодежного театра на Фонтанке, открытого еще в конце 70-х, совершенно невероятным образом, в глухую нерадостную ленинградскую пору. Тогда спектакли Малыщицкого были не только эстетической фрондой (они, очевидно, следовали эстетике Любимова), но и социально острыми: "Сотников", "Отпуск по ранению" Василия Быкова — лучшая русская проза той поры. Постановки на исторические сюжеты — "Сто братьев Бестужевых", "Если иначе нельзя..." — оценили Лотман и Эйдеман. А инсценировка романа Айтматова "И дольше века длится день" вообще была признана событием сезона, встав тем самым в ряд шедевров Товстоногова и Додина.

Потом, спустя всего лишь три года, Малыщицкого "убрали". Гораздо позже, на гребне перестройки, он попытался продолжить — не слишком успешно, прежнее дело в новой студии, в Пушкине. А сейчас, еще раз начав все заново, возглавляет свой театр — уже пятый по счету, потому что до студии ЛИИЖТа, ставшей предтечей Молодежного, был еще театр в городе Никель Мурманской области.



Владимир МАЛЫШЦКИЙ: "Меня посчитали антисоветчиком"

— Как вы туда попали?

— Я был распределен после института в Мурманск, мне предложили уехать в Никель и там организовать театр. Было это в 1964 году. У нас был достойный репертуар — "Голый король" Шварца, "Дамоклов меч" Хикмета, "Первая конная" — этим спектаклем, как мне казалось, я спорил с "Десятью днями" Любимова. "Парабола" по стихам Вознесенского, "Проверка" по стихам павших на войне поэтов, два брежневских спектакля. Был очень дорогой для меня спектакль "Бригантина" — редкая по качеству пьеса драматурга Вадима Коростелева. После гастролей в Москве, где нас увидел Любимов, он пригласил меня на режиссерские курсы. Юрий Петрович дал мне основное — ощущение театра как необходимой людям формы жизни.

В Никеле проблем со зрителем не было. Первые двадцать-двадцать пять представлений шли на аншлагах. Я ушел оттуда потому, что актеры "заелись". С сытыми людьми тяжело работать; они хотят постоянно успеха и не хотят затрачиваться, выкладываться — зачем, если и так успех?

— Вы считали, что художник должен быть голодным?

— Не в бытовом плане, конечно. Пусть он будет сыт и одет, но — не спокоен. Главное, чтобы не смещались критерии, чтобы стремление к бытовому достатку не превращалось в самоцель. Тогда у артиста остается ремесло, за которым не видно художника. В конце 80-х, когда я недолго работал в БДТ у Товстоногова, Георгий Александрович мне — постоянно человеку — говорил: найти бы пьесу для Фрейндлих, чтобы я видел в ней не только актрису, но и женщину. То, что смог с ней сделать Тарковский в "Сталкере". Перед БДТ эта проблема закрытости актерской личности ремеслом стояла тогда уже очень остро. А я впервые с ней столкнулся году в семьдесят шестом, когда во МХАТе репетировал с Любимым — грандиозным артистом! — инсценировку Карякина по "Смешному человеку" Достоевского, ту, что потом поставил Фокин в "Современнике".

— Как вам удалось пробить открытые нового театра в конце 70-х годов? Ведь к тому времени в городе уже лет тридцать не было официальным путем создано ни одного нового театра и ни одна инстанция не была заинтересована в пополнении городской афиши.

— Несколько человек, среди которых были Георгий Тараторкин, Сергей Юрский, критики Сахновский, Панкеев, Рудницкий, Юфит пошли в главк с предложением дать нашей студии в ЛИИЖТе государственный статус. В нужный момент, когда секретарь обкома партии по идеологии был в отпуске, удалось каким-то чудом все проделать. Потом уже меня не хотели утверждать в обкоме, потому что открытие театра было запре-

щено объявлять — не было ни одной афиши. Ну, и уж, конечно, все спектакли принимали по много раз. В инсценировке романа Айтматова вся сюжетная линия была связана с космосом. На четырех телеэкранах транслировались подобранные в Белых Столбах кадры — тренинг космонавтов, центр управления полетов, системы противоракетной защиты, были специально записаны дикторские сообщения — как репортаж. Все это вызвало страшный гнев, было немедленно запрещено, и спектакль вышел без этой сюжетной линии вообще. С этого начался отсчет моего конца. "Беда" и "Джамхух — сын оленя" довели дело.

Для того, чтобы меня уволить, шли провокации труппы, мне объявляли один выговор за другим. Было собрание, где меня осуждали как антисоветчика; была партийная комиссия. Я, допустим, подарил человеку статью Шенякина о Высоцком — поздравил с премьерой. Он заявляет: "меня снабдили статьей врага народа Шенякина". Инкриминировали распространение стихов Коржавина, припомнили, что мой родственник — Барышников. Константин Лазаревич Рудницкий мне писал: "Вы допустили большую ошибку. Вы сблизили театр и дом". С Рудницким мы познакомились в 1974 году, на гастролях ЛИИЖТовской студии в Москве. Он сказал тогда о спектакле "Не стреляйте в белых лебедей": "Я не понимаю, как это полтора часа на меня со сцены идет поток добра".

— Вы перечислили ваш ранний репертуар, и я узнавал названия или схожие мотивы, которые позже повторялись, откликались в других ваших труппах. Начиная новое дело, вы всякий раз шли уже испытанными дорогами. И сейчас в вашем репертуаре старые имена — Александр Володин, Петер Вайс, а в спектаклях по Довлатову, Ерофееву, Бродскому узнаются прежние работы времен Молодежного. Но начали вы с довольно неожиданного материала — "Сны Евгения" Казанцева. Автор не совсем привычной для вас стилистики, да и вообще вы в последние годы не тяготели к драматической форме, предпочитая инсценированную прозу или поэтические композиции. У вас впервые появилось желание, начиная заново, попробовать и новый театральный язык?

— Материал был действительно для меня новый, но автор — старый. Я знаком с Казанцевым лет двадцать и я трижды ставил его пьесы. До "Евгения" я пытался в Пушкине сделать "Великий Будда, помоги им!" и обнаружил то, о чем вы говорите, — пытаюсь нехарактерную для меня стилистику вскрыть старыми отмычками. Не получилось. А в Молодежном я репетировал "И порвется серебряный шнур", где все сходилось, но не было исполнителя на очень важную роль Деда. Так спектакль и не вышел.

О двух невышедших спектаклях я жалею — об этом и в "Заповеднике" по сценарию Битова, который тоже репетировал в Молодежном. Я не люблю фильм Эфроса по этому сценарию "В четверг и больше никогда", потому что совершенно иначе видел героиню. Претензий к Добжанской — она играла Мать, — у меня нет, но это не то, о чем писал Битов. По моему, Андрей Георгиевич рассказывал, что сначала на эту роль была приглашена давно не игравшая семидесятилетняя актриса из МХАТа. Она, торопясь на съемку, запылила в троллейбус и упала, повредив позвоночник.

"Заповедник" мы с художником Александром Орловым придумали так: зал окружает сцену, зрители сидят среди искусственных деревьев, и только в центре сцены — оазис, живые деревья, развешаны корни, которые сушит Мать, а дальше в глубине идут ступени, которые превращаются в банные полки — там парится Сын и вся его компания, только что убив козлю и рассуждая о защите природы. Спектакль не вышел, его репетиции начались сразу же после "Джамхуха" по Искандеру, когда моя судьба была предрешена, — меня не оставляли в Молодежном даже очередным режиссером.

В Пушкине не был завершен спектакль "Кролики и удавы" по Искандеру. Удивительное было оформление все того же Орлова — зал вместе с игровой площадкой помещен в огромный корпус удава. Мы отрепетировали примерно треть, я попал в больницу, куда ко мне пришла группа артистов и заявила, что, поскольку теперь демократия, то они решили поменять меня на другого режиссера. Здоровья мне это, надо сказать, не прибавило.

— Скажите, а сейчас вы не допускаете ошибки, о которой вам писал Рудницкий, — не смешиваете театр и дом?

— У него в письме дальше было сказано: "Можно впускать к себе в дом людей, а вы впустили артистов, из которых далеко не каждый — человек". Артист за роль может предать, продать, что тогда и произошло. А сейчас у меня все — свои.

Явно в продолжение размышлений о судьбе театра-дома Малыщицкий ставил свою последнюю премьеру — "Кабалу святош" по Булгакову, где сам же и сыграл Мольера — творца театра-дома, вынужденного ради судьбы своих творений улаживать закулисные конфликты, идти на компромиссы с начальством, спорить с жаждающей развлечения публикой. А на очереди — постановка новой пьесы Александра Володина "Беженцы". С этим автором режиссер не может расстаться уже четверть века. "Беженцы" станут пятнадцатым его спектаклем по Володину.

Беседовал Леонид ПОПОВ
● Владимир Малыщицкий